

труд, покажет оглавление книги: 1. От редакции; 2. Поэма (текст); 3. Разночтения списков; 4. История (работ Пушкина над поэмой и научных дискуссий о принадлежности ее Пушкину); 5. Сюжет (начиная с апокрифических евангелий и кончая французской эротикой XVIII века); 6. Композиция; 7. Изложение; 8. Язык; 9. Текст (рукописные списки и приемы редактирования); 10. Издания Гавриилиады; 11. Рукописи; 12. Библиография; 13. Указатель имен.

Как видим, Б. В. Томашевский стремился к исчерпывающей полноте комментария. И сразу следует сказать, что он во многом добился отличных результатов. Не только самый текст поэмы получил яркое освещение, оказались и другие результаты—обще-научного значения. Для самой поэмы ценны, напр., собранные отовсюду воедино известия и даты по истории созидания поэмы. Но наблюдения над языком, композицией, сюжетом, «изложением» имеют и более широкое значение. При скудости у нас подобных изучений, каждый такой опыт приобретает методологический интерес. В своих наблюдениях над литературной историей «Гавриилиады», ее стилем, композицией, Б. В. Томашевский обнаружил много наблюдательности и разнообразных познаний.

Но есть в книге недостатки. Библиография неточна и неполна. Напр., по поводу издания поэмы под редакцией В. Я. Брюсова Томашевский сообщает: «в одной из московских газет того времени появилась обширная рецензия В. Ходасевича». И только! Многие статьи обозначены чересчур кратко, глухо, и часто не знаешь, о чем в них речь. Еще крупнее промахи с текстом. На них подробно останавливался М. А. Цявловский в своем докладе в Пушкинской Комиссии Общ. Люб. Росс. Словесности, и суть дела вот в чем. Томашевский, как новость, печатает поэму по Ефремовскому списку Пушкинского Дома. Но этот список уже издан—самим П. А. Ефремовым, и в довольно значительном количестве экземпляров, и об этом Томашевский почему-то не знал. Другой список «Гавриилиады», не менее авторитетный, из собрания Лонгинова,

хранящийся в Румянцовском Музее и уже известный по упоминанию в печати, не был изучен Томашевским.

Но самое крупное, что можно возразить против текста поэмы, установленного Томашевским, и против системы вариантов, им построенной, и против наблюдений над языком, стихом и стилем, это вот что: в распоряжении исследователя не было автографа Пушкина. Томашевский пишет: «Подлинная рукопись Пушкина, по всем вероятностям, находится в Остафьевском архиве». Это очень глухо сказано, и неизвестно, делал ли автор попытки лично или через Академию Наук или другие учреждения попытки получить автограф и считает ли это раз-на-всегда невозможным. Во всяком случае ясно, что всю энергию надо направить на добывание автографа. Пока его нет в руках, преждевременны и гадательны все тонкости стилистических, метрических, даже композиционных анализов.

Внешность книги удивительно изящна. И как жаль, что не приложено ни одного снимка с автографов Пушкина, связанных с «Гавриилиадой» (один такой снимок см. в «Старине и Новизне», кн. XV).

Н. Пиксанов.

**Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома. Петроград. Издательство М. и С. Сабашниковых. 1922 г.**

Книга представляет большой интерес для читателя, интересующегося историко-литературными вопросами.

Очень правильно отмечает Н. Котляревский особенность некрасовской поэзии, как поэзии, не парящей над жизнью, а дающей нам «проникновение в нее и растворение в ней». Надо было «найти красоту и поэзию в ней самой, в ее некрасивой, суровой, грязной и даже преступной внешности». Впрочем, после интересной статьи К. Бальмонта в сборн. «Горные вершины», где как раз ярко формулируется эта же самая мысль, утверждение Н. Котляревского не представляет чего-нибудь нового.

Но вот что любопытно в статье Н. Котляревского. Отмечая совершенно

верно, что «поэзия Некрасова была отзвуком русской души на запросы всей современной ему культурной жизни», автор совсем не сделал из этого своего положения необходимых выводов.

«Запросы культурной жизни» в конце 70-х годов выражались в идеологии и настроении представителей так назыв. критического народничества. В противоположность идеологам славянофильства (Аксаков, Киреевский и друг.) и их эпигонам (Страхов, Григорьев, Тютчев, Достоевский), революционная интеллигенция не только не преклонялась перед народным терпением, не умилялась тем, что русскую землю «в рабском виде царь небесный исходил благословляя», а наоборот—возмущалась пассивностью крестьянской массы.

Этим возмущением перед терпением народным был проникнут и Некрасов. Вот почему толкование Н. Котляревским поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» является в корне неверным. Ему кажется, что поэма — «песнь о свободной душе, рожденной и спасенной в рабстве. Если эта душа действительно спасена, то раба не существует, будь на нем даже цепи».

Правда, слова о сердце народном, спасенном в рабстве, взяты у Некрасова, но золотое сердце может быть и у человека, по существу своему проникнутому рабским началом жизни.

У Некрасова были моменты колебания в расценке долготерпения народного. И те соображения, которые имеются у Овсянко - Куликовского по поводу первой части поэмы «Тишина», являются правильными, но это именно только моменты колебаний. Можно указать, напр., также на элементы двойственности в отношении к народному терпению, на что указывал когда-то, по поводу стихотворения «Ночь!.. успели мы всем насладиться», Евг. Андреевич-Соловьев.

Но, за вычетом этих моментов в настроении Некрасова, мы видим как раз обратное: чувство досады перед лицом народного долготерпения.

Статья М. Гофмана дает нам различные первоначальные варианты отдельных мест поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Материалы, опубликованные Гофманом, интересны, но при изучении

их необходимо иметь в виду не только вопросы композиции и стиля произведения, а также и то обстоятельство, что Некрасов, считаясь с цензурой, зачеркивал и выпускал отдельные места. Об этом достаточно красноречиво говорят опубликованные в журнале «Книга и революция» строки из поэмы «Русские женщины». Или обратим внимание на одно из писем Добролюбова, из которого мы узнаем, что в «Песне Еремушки» слова определенные заменялись формулировкой более расплывчатой, напр., «необузданную дикую к лютой подлости вражду» вместо «необузданную дикую к угнетателям вражду».

В опубликованных вариантах также есть более яркие и определенные места, в сравнении с напечатанным текстом, в издании Некрасова. Так, напр., в главе «Горькое время—горькие песни» четыре строчки от слов «О время, время новое!» в варианте, впервые опубликованном, дают уже в 17 строках достаточно определенную характеристику этих новых времен.

Следующая статья Н. Яковлева дает нам вариацию стих. «Филантроп», которая действительно вводит нас в лабораторию творчества поэта.

Интересна статья Б. Каплана о рукописном сборнике Модзелевского, педагога, умершего более четверти века назад. Модзелевский с ранней юности списывал стихи Некрасова. Строки и отрывки, непропущенные цензурой он вставлял «на основании изустных преданий или нелегальных списков». Дальнейшие изыскания подтверждают верность списков Модзелевского. Интересны также исправления П. А. Ефремова в печатном тексте стихов Некрасова.

Статья «Некрасов и Никитенко» с приложением писем Некрасова дает нам Некрасова в его первый период петербургской жизни, когда, под влиянием тяжелой борьбы за существование, из него вырабатывался суровый практик жизни, учитывающий все веления рынка и все условия издательства в эпоху 40-х годов. Переписка с Никитенко, как с цензором, говорит о том, сколько нервного напряжения требовалось от Некрасова в его, исключительно трудной, журнальной деятельности.

Переписка Некрасова с Полонским дает несколько интересные черты в понимании облика Я. П. Полонского, а также говорит о связанности Некрасова с редакционным коллективом «Отечественных Записок».

В общем, изданная книга в историко-литературном отношении представляет несомненную ценность.

И. Кубинов.

**О. АПТЕКМАН. Глеб Успенский. Изд. «Задруга». 1922.**

Книга О. Аптекмана, составленная из двух очерков, в свое время напечатанных в «Русском Богатстве» и в «Современном Мире»,—представляет интерес как для исследователя творчества Гл. Успенского, так и для рядового читателя.

Особенное значение имеет первый очерк «Страницы из скорбного листа». Автор наблюдал жизнь Гл. Успенского в Колмовской психиатрической колонии. Перед ним прошел весь процесс духовного угасания одного из прекрасных представителей русской литературы. Как известно, Гл. Успенский в состоянии сумасшествия пробыл почти десять лет. Первые годы были моменты просвета, но затем больной впадал во все более безнадежное состояние. «В его помрачении,—говорит Аптекман,—я видел мрак, опутавший тогда нашу родину, погубивший его, а с ним много сильных, честных и благородных».

Страницы, в которых перед нами выявляется так назыв. социологический бред Гл. Успенского, как раньше, так и теперь читаются с захватывающим интересом.

Очень важны также те страницы книги, где перед нами целая законченная система миропонимания, сложившаяся в мозгу душевно-больного писателя.

Больной Гл. Успенский отказывается есть сорванные или срезанные яблоки,—«ем только палые, которые сами пали потому, что все живое имеет душу, начиная от былинки в степи, кончая человеком». По этой же причине Гл. Успенский протестовал против сенокоса

и жатвы. «Как-то раз Гл. Иванович увидел в окно, что косят траву. Боже! Что с ним сделалось! Он кричал, ругался, плакал, проклинал и довел себя до такого состояния, что д-р Синани приказал немедленно приостановить косьбу, и она была окончена ранним утром, когда Гл. Иванович еще спал». По этой же причине он подымал шум, когда при нем ездили на лошади, ибо, по его понятию, это было насилие над живым существом.

Самого О. Аптекмана Гл. Успенский называл «Св. Иосиф». Но иногда он был в глазах Гл. Успенского «Иуда предатель и душегуб». Потому что он занимается тем, что держит «святых угольников» в «бесконечном гробу». А по мнению больного Гл. Успенского доктор «св. Иосиф» должен заниматься совсем другим, а именно: 1) «завести во всех бесконечных деревнях бесконечные посева пашен», 2) «устроить во всех деревнях бесконечные крестьянские банки и бесконечные народные школы», 3) «завести по всем селам и деревням бесконечные столовые для детей, малолетних и престарелых» и, наконец, 4) «завести по всем деревням бесконечные посевы лекарственных трав».

И совершенно правильно отмечает О. Аптекман, что читатель, знакомый с сочинениями Гл. Успенского, увидит в этой программе душевно-больного человека все те же проклятые вопросы, которыми жил и здоровый Гл. Успенский.

Болезнь Гл. Успенского, по свидетельству О. Аптекмана, усилилась со второй половины 1896 г. Мало-по-малу настал полный душевный мрак—бесповоротный и страшный.

Вполне естественен для О. Аптекмана, как для врача общественника, интерес к причинам душевной болезни Гл. Успенского.

Автор приходит к таким выводам: решающими факторами были все внешние, крайне неблагоприятные для душевного равновесия писателя, условия жизни. Картины страданий человеческих потрясали Гл. Успенского, ибо у него каждое представление почти ментально превращалось «в живое, чувственное восприятие». Все эти ужасные явления русской действительности дей-